

ХРОНИКИ РУССКОГО СЫСКА

Сергей Диковинный

ВЫПУСК
№ 4

ФЕНИКС



ТАРЬ
ФЕНИКСЪ
СЕРОДНЯ
ГРАНДИОЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ФЕНИКС

Сергей Диковинный

**Хроники русского сыска.
Выпуск четвёртый. Феникс**

«Автор»

2026

Диковинный С. В.

Хроники русского сыска. Выпуск четвёртый. Феникс /
С. В. Диковинный — «Автор», 2026

Москва, 1886 год. Московское сыскное отделение, агент Игнат Куракин — человек нелюдимый, с чемоданом вместо портфеля и с театральным прошлым, о котором не рассказывает никому. При нём околоточный надзиратель Иона Васин — двадцать лет службы, тетрадь в клетку и привычка записывать всё, даже то, что не понимает. Четыре дела. Четыре московских зимы и вёсны. Дело первое — о человеке, который не мог умереть дважды. Дело второе — о том, кого взяли на сцене. Дело третье — о театре «Аркадия», где нашлось три Баркова, а убийц оказалось двое. Дело четвёртое — о «Фениксе», который сгорел и возродился из пепла. Куракин не гонится за преступником. Куракин даёт ему думать, что его не видят. А Васин записывает: «След всегда больше вещи», «Актёр играет чужую жизнь, сыщик читает свою», «Пирожок у Егорова с капустой». Цикл исторических детективов о двух следователях, которые ловят московских убийц не погоней, а терпением.

Содержание

Глава 1. Гарь	5
Глава 2. Двор	8
Глава 3. Рашель	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Хроники русского сыска. Выпуск четвёртый. Феникс

Глава 1. Гарь

Меня зовут Иона Аркадьевич Васин, и я околоточный надзиратель второго участка Пречистенской части. Служу в полиции двадцать два года, из них последние четыре хожу в помощниках у следователя Нестера Кузьмича Куракина. Не по чину, а по знакомству: в девятьсот пятом он вытащил из огня моего племянника, и с той поры мы с ним друг за друга держимся. Он мне доверяет свою работу, я ему — свою память. Память у меня хорошая. Я помню в Москве всякую дверь, у которой скрипят петли, всякого дворника, который берёт с жильцов на полтинник больше, чем положено, и всякого извозчика, который знает, где на Смоленском рынке можно достать неразведённый спирт. Этим я и служу Куракину.

Куракину сорок два года. Невысок, сух, седина на висках, о которой он не говорит и за которую не извиняется. Носит штатское — тёмный сюртук, иногда пальто, — и по нему не скажешь, что он полицейский: похож скорее на учителя гимназии или на нотариуса с Тверской, который никогда не повышает голоса и от этой своей сдержанности кажется опаснее любого крикуна. Говорит он мало, слушает много, а когда перед ним начинают разыгрывать чувства — просто отворачивается, и человек сам не замечает, как остывает. Я за четыре года видел, как он двумя-тремя словами заставил сдать трёх человек, и слова эти были скучные: «Довольно», «Сядьте», «Пейте чай». Что за сила в них, я не знаю. Но действует.

Двадцатого апреля этого года, около полудня, он вошёл в наш участок на Пречистенке, не снимая шляпы, и сказал мне:

— Иона. Цирк Штерн. Поедем.

Я спросил, что стряслось.

Он ответил:

— Пожар. Женщина сгорела.

Больше он не сказал ничего, пока мы не доехали до Тверской.

Цирк Штерн стоит в глубине двора, за длинным каменным забором, с чугунными воротами и вывеской, выкрашенной суриком. Я там бывал и по службе, и просто так, потому что по моему участку он не проходит, а по соседнему — третий, и с третьим у нас всегда было налажено. Помню, как пахло в нём в доброе время: опилками, лошадьми и апельсиновой коркой, которую публика бросала на манеж вместо цветов. Теперь пахло иначе.

Мы подъехали на извозчике. Куракин расплатился, не торгуясь, и дальше мы пошли пешком.

Первое, что я почувствовал, — сырость. Не апрельская мягкая, от которой набухают тротуары, а тяжёлая, лежащая, как в подвале. Гарь уже не курилась — её залили ещё ночью, и теперь она осела на всём: на брусчатке, на заборе, на кустах сирени, которые кто-то посадил вдоль стены и которые теперь стояли чёрные, как будто их окунули в дёготь. Пахло не только горелым, но и мокрым углём, а под этим — ещё что-то. Керосин. Я его узнаю с порога, по одному вдоху. И ещё запах, который я не люблю: жжёный лак, как от старой мебели. Так пахнет, когда горит дерево, крашенное много раз.

Цирк снаружи был почти невредим. Потемневшая местами обшивка шапито, лопнувшие от жара стёкла в двух окнах бокового флигеля, над всем — обгоревший угол крыши, уже затянутый свежими серыми досками. Пожарные уехали ещё ночью, но их присутствие осталось: на

брусчатке валялись куски размотанного рукава, у входа стояла бочка с водой, и лужа вокруг неё не собиралась сохнуть.

Во дворе былолюдно и тихо одновременно. Люди стояли кучками и молчали. Я насчитал человек двадцать: артисты, униформисты, кучера, две какие-то женщины в тёмном, ближе к конюшне. Все смотрели на нас, когда мы проходили, — так смотрят на чужих, от которых ждут чего-то, но не знают, доброго или худого. Я по привычке отметил, кто где стоит и как держит руки. У конюшни, у самой стены, спиной к нам стоял старик в тулупе и на нас не оглянулся. Это я тоже отметил.

Навстречу Куракину поднялся околоточный третьего участка — молодой, с припухшим лицом, фамилия Пыжов. Я его знал шапочно: старательный, но ещё сырой. Он доложил коротко: пожар минувшей ночью, около половины третьего, горела гримёрка артистки Астарты; сама артистка погибла; тело увезли в анатомический театр; дознание начато; пристав велел никого не отпускать до прибытия Куракина.

Куракин выслушал и спросил только одно:

— Пожарные что говорят?

Пыжов помялся.

— Говорят, керосин. Запах был явный. И бумага — много бумаги горело. Обшивка стен внутри бумажная, вы знаете, как в цирках. Оно и вспыхнуло.

Куракин кивнул.

— Ведите.

Мы прошли через двор к служебному флигелю, где были гримёрки. По дороге Куракин ни на кого не смотрел и никого не останавливал, но я знаю его манеру: он смотрит не глазами, а плечом, затылком, всей своей сухой фигурой. Кажется — идёт мимо, а на самом деле уже разложил всех, кто стоял вокруг, по порядку и каждого запомнил.

Гримёрка была третья от угла. Дверь в неё выломали, щепки у косяка ещё лежали и отпечаток лома на полу — тоже. Внутри пахло так, что я невольно отступил на шаг и достал платок. Пахло не гарью, а чем-то похуже: жжёным жиром, палёным волосом и той сладкой дрянью, от которой кружится голова и которую я до сих пор не могу назвать словом. Так пахло в Туле, когда сгорел флигель на нашей улице и в нём нашли кухарку.

Куракин вошёл первым.

Гримёрка была небольшая — шагов шесть в длину, пять в ширину. Узкое окно в глубине, забранное частой решёткой. Столик с зеркалом у левой стены; от столика уцелела одна ножка и обугленный ящик, выдвинутый до половины. Пол — выгоревший кругом посреди комнаты, аршина в полтора. Стены в верхней части почти целые, только закопчены. Потолок обвалился куском; на нём виднелись балки, чёрные, но не прогоревшие насквозь.

И воздух. Воздух в этой комнате был тяжелее угля. Я стоял у порога и не входил, пока Куракин не позвал.

Он ходил по выгоревшему кругу и смотрел вниз. Присел на корточки. Потрогал пол кончиком пальца, осторожно, как трогают горячее. Поднялся. Обошёл стены. У окна задержался дольше — потрогал решётку, посмотрел на подоконник, что-то там стёр рукавом и снова посмотрел. У столика вынул из ящика уцелевший уголок бумаги, посмотрел на него на свет, положил обратно. Пошёл к двери. Посмотрел на замок — выломанный, но с целой накладкой. Потом обернулся ко мне.

— Иона, — сказал он. — Дверь была заперта изнутри. Пожарные пишут: взломали, потому что стучали, и не отворили.

Я это отметил про себя. Не записал — у меня тетрадь для другого, для памяти, но не для протокола. Протоколы Куракин пишет сам, когда захочет.

А он уже повернулся к Пыжову:

— Сторож где?

Пыжов замялся.

— Ефим Ильич Лапин. Он в конюшне, при лошадях. Мы его не трогали. Он сам приходил, ещё утром, до вас. Говорил, что первым увидел.

— Хорошо, — сказал Куракин. — Позовёте. Но не сейчас.

Он ещё раз обошёл комнату. На этот раз остановился у стены, где торчал афишный гвоздь — единственное, что осталось от того, что тут висело. Гвоздь был вбит глубоко и не выгорел. Куракин потрогал его и что-то отметил про себя — я по лицу увидел, а не по словам.

Потом он сказал:

— Иона. Говори.

Я не сразу понял.

— Что говорить?

— Что видишь.

Я обвёл взглядом комнату ещё раз. И сказал ему то, что думал.

— Огонь тут не сам пришёл. Облито. Обшивка — бумага, а бумага от одной искры не так полыхнёт, чтоб до потолка. Ей надо помочь. И горело ровно, кругом — как будто кто-то лил, стоя посреди, и обходил по кругу. Значит — тот, кто лил, ушёл через дверь. Дверь, по всему, заперта была не им.

Куракин смотрел на меня.

— А кто?

— Либо она сама заперлась от страха, — я пожал плечами. — Либо кто-то второй, кто был в комнате до этого.

— Двоих допускаешь?

— Допускаю.

Он кивнул.

— Я тоже. Пиши это в тетрадь на память. Потом сверим.

Я вынул свою тетрадь и записал. Тетрадь у меня толстая, в клеёнке, и в ней я держу не одни дела. Там же — имена должников по участку, дни именинников, у кого когда переучёт, и на каких улицах дренаж чинили весной. Двадцать лет — это не шутка. В голове держать много, записывать — надёжнее.

Я уже собирался идти за Куракиным, но задержался на пороге — зачем, сам не знаю. Так иногда бывает: уходишь и вдруг оборачиваешься. И на пороге, у правого косяка, я заметил то, чего раньше не видел. В углублении, где отходила доска, лежал кусочек чего-то. Не угля. Не бумаги. Я наклонился и подцел его ногтем.

Это была мелкая щепка с позолотой. Как от ёлочной игрушки. Или, скорее, как от театральной мишуры, которую клеят на костюмы для блеска.

Я зажал её в кулаке и вышел.

Куракин ждал меня во дворе. Он не спросил, где я задержался. Просто посмотрел и сказал:

— Пойдём к Рашели.

И мы пошли.

Глава 2. Двор

Двор цирка — это не то, что видит публика.

Публика входит с Тверской через парадные ворота, попадает в фойе с зеркалами, где швейцар в ливрее снимает с неё пальто, потом — в зал, к бархатным креслам, где тепло и пахнет духами, и на манеж, где всё блестит: опилки, свет, лошади в белом. Публика думает, что цирк — это зал. А цирк — это двор.

Во двор ведёт служебный въезд с Благовещенского переулка — широкий, для фургонов, с откидными воротами. Тут же — конюшня на двадцать лошадей, кирпичная, с чугунными решётками на окнах; каретный сарай, где стоят три парадные коляски и один фургон для гастролей; водокачка; ледник; и служебный флигель — тот, где была наша гримёрка. Флигель одноэтажный, длинный, с шестью дверями по коридору и общей умывальной у чёрного хода. Тут живут не только на выступлениях. Тут живут.

Это я к тому говорю, что настоящая жизнь цирка — не в манеже, а в этом дворе, и не вечером, а днём. Вечером все — артисты. Днём — те же артисты, только без грима: кто стирает трико, кто кормит лошадей, кто чинит банный шнур, кто ссорится из-за плиты. И вот в этой дневной жизни человека видно, как на рентгене.

Когда мы с Куракиным вышли из служебного флигеля, во дворе уже рассосалась та кучка, что стояла при нас. Осталось трое: два униформиста у конюшни — young, крепкие, лет по двадцать пять, в серых вязаных фуфайках, — и при них мальчишка, лет четырнадцати, конюхов сын, что метлой сметал с брусчатки мокрую золу. Золы было на удивление много. Её набрасывало ветром даже сюда, из-за флигеля, и она оседала на лужах, как чёрная пена.

Куракин остановился и закурил. Он курит мало, но тут закурил — в первый раз за сегодня. Я понял: разговор будет неспешный.

Он подозвал мальчишку.

— Как звать?

— Федька, — ответил тот и, вспомнив, судя по всему, что перед ним полиция, добавил: — Фёдор.

— Ты чей?

— Лапина, Ефима Ильича. Конюха.

— А сам что тут?

— При лошадях. Мету, чищу, в ночное гоняю. Большой буду — униформистом.

Куракин дал ему двугривенный и спросил:

— Вчера ночью где был?

Федька спрятал монету за пазуху и стал серьёзен.

— Тут и был. В конюшне. С отцом. Мы в ночном дежурим, когда лошади не спят.

— Что видел?

— Дым. Сначала думал — от печки. Потом слышу — крик из-под крыши. Ну я к отцу.

Он — наверх, к флигелю. Я — за ним.

— Кто ещё прибежал?

Федька подумал.

— Да всё равно все. Кто из флигеля, кто с квартир. Много. Раньше пожарных. Пожарные мин через десять приехали. У нас тут ближняя часть на Бронной, им недалеко, но у них в ночь смена была, они на выезде стояли.

— А из артистов кто?

— Из артистов... — Федька задумался, утирая нос рукавом. — Господин Гуров прибежали. Мадемуазель Маргоша. Двое из лошадиных.

— Астартова гримёрка — где от флигеля?

Федька не понял.

— Дверь её. Считая от конюшни?

— Третья. До стены ещё две.

— Так, — сказал Куракин. — Иди.

Мальчишка убежал, и метла застучала по брусчатке снова.

Я стоял и глядел ему вслед. Не потому, что в мальчишке было что-то важное. А потому, что мне понравилось, как Куракин его спросил: не «где ты был», а «чего видел». Первое — из протокола. Второе — из дела.

Дальше во дворе нам попался тот самый старик в тулупе, что я заметил при входе. Когда мы подошли ближе, я разглядел его лучше. Лет шестидесяти, борода седая, глаза светлые, влажные, как у слепого, хотя он не слепой. Тулуп крымский, овчинный, ещё зимний, чуть не до полу, и тулуп этот при такой сырости был на нём единственным, что ещё держало старика в тепле. Звали его Авдеич, и был он при цирке не при лошадях и не при буфете, а при всём сразу. Такие люди есть в любом большом доме: они не занимают должности, но без них дом не стоит. Авдеич следил за ледником, за дровами, за керосином, за тем, чтобы у швейцара был уголь в печке, а у фонарщика — бидон. Он же смотрел и за противопожарным рукавом, который теперь валялся на брусчатке.

Куракин его не спросил ни о чём. Только сказал:

— Рукав уберите. За ночь его в грязь затопчут, а он казённый.

Авдеич засопел и наклонил голову и в точности пошёл к рукаву. Этим Куракин сделал две вещи: старик теперь был нашим должником и вреда от него не будет, а мы получили ещё одну фразу к делу — рукав был ещё здесь, не убранный восемь часов после пожара, значит, никто в цирке не распоряжается. А если никто не распоряжается, значит, Рашель — не распорядилась.

Я записал это себе в тетрадь, не на виду.

Конюшня.

Мы зашли туда, потому что Ефим Лапин был дежурный и первым увидел дым, и Куракин хотел на него взглянуть раньше, чем он начнёт говорить официально. Конюшня была низкая, тёплая, светлая от широких окон и вся пропитана тем запахом, который я люблю с детства, — сеном, дёгтем и конским потом. В денниках стояли лошади. Их было семь или восемь: три серых в яблоках, тех, что берут в манеж, две вороные — на парад, две гнедые — на выездку, и один косматый пони, самый старый, лохматый, с пушистой гривой, которого, судя по его положению у самой двери, держали для детей. Пони этот повернул голову и посмотрел на нас без всякого интереса. Я подошёл, потрогал морду, он потянулся за пазуху — за сахаром. Я дал.

В глубине, у правого денника, чистил лошадь человек лет пятидесяти, плечистый, с проседью в короткой бороде. Услышав шаги, он не обернулся. Только когда мы подошли совсем близко, отложил скребницу и выпрямился.

Это и был Ефим Ильич Лапин.

Он смотрел на Куракина спокойно и без страха. Я видел много людей на своём веку, которые вот так смотрят на полицию: у станционных сторожей, у бакенщиков на Москве-реке, у старых пожарных, у врачей в холерные годы. Так смотрят люди, которые знают, что они ни в чём не виноваты, но и знают, что могут не понравиться. Я это отметил.

Куракин сказал:

— Не сейчас. После обеда придёте в участок, скажете всё, что видели. При мне.

Лапин кивнул и снова взялся за скребницу.

Мы вышли.

— Он бы и сейчас сказал, — заметил я.

— Сказал бы, — согласился Куракин. — Но он бы соврал. Не потому что виноват. А потому что рядом с ним стоят лошади. Он бы стал подбирать слова, чтобы не потревожить их. А нам нужен он один, без лошадей.

Я подумал и признал, что он прав.

По дороге к служебному флигелю, где, как сказали, был кабинет Рашели Давидовны Штерн, мы прошли мимо буфета.

Буфет — это маленькая, но важная часть циркового двора. Здесь едят все, кроме тех, кому подают в гримёрку; здесь пьют чай в три часа, здесь узнают, кто с кем поссорился, кто кому задолжал, кто вчера с кем пил. Здесь же, как правило, сидит и кассир, и кассир этот знает про цирк больше самого директора.

Сейчас в буфете сидели трое.

Первый — господин во фраке, немолодой, с бачками и набриолиненной лысиной. Это был Гуров, шталмейстер, старший верховой. Я его знал с давних пор, ещё когда мальчишкой с отцом смотрел на ёлке выездку. Лет двадцать пять назад он был первым наездником в московском цирке Гинне, потом — в цирке Саламонского, а теперь служил у Штерн. Держался он старомодно, и фрак носил даже в буфете утром. С ним был невысокий, юркий человек в сюртуке мышиного цвета, которого я не знал; потом оказалось — Рамм, кассир и заведующий хозяйством. Третий — молодой акробат, рыжий, курносый, в вязаной фуфайке; он молчал, пил чай, слушал.

Когда мы вошли, все трое замолчали.

Куракин поклонился. Ему поклонились. Он спросил Гурова только одно:

— Костюм феникса где?

Гуров поднял на него глаза. Долго смотрел. Потом сказал:

— Он у Рашели Давидовны.

И больше ничего.

Куракин поклонился ещё раз и вышел.

Я запомнил, как этот рыжий акробат на нас посмотрел. Не с испугом. С чем-то другим. С чем — я тогда не определил, но определил потом: с обидой. Потому что он — униформист по вчерашней ставке, а в деле его нет и быть не должно, а он считает, что должен быть.

Кабинет Рашели Давидовны Штерн был при жилых комнатах, над конюшней. Мы поднялись по деревянной лестнице, отшлифованной сотнями ног. Куракин постучал.

Голос ответил не сразу.

— Войдите.

Мы вошли.

Глава 3. Рашель

Кабинет Рашели Давидовны Штерн был, по сути, не кабинет. Это были её жилые комнаты — две смежные, над конюшней, с низкими потолками и косым полом, оттого что конюшня стояла ниже, чем кажется снаружи, и пол в жилых покоях шёл как бы под уклон к окну. Никто этого не замечал, кроме тех, кто тут сидел долго: чашки на столе чуть-чуть съезжали к окну, если их не двигать. Помню, Куракин это отметил про себя в первый же визит — я по глазам видел, — а потом, уже на обратном пути, сказал мне: «Пол в комнате кривой. Она это знает. Она всё тут знает».

Пахло у Рашели Давидовны хорошо. Не так, как в цирке, не опилками и не кожей, а чем-то домашним: крепким чаем, который она заваривала сама — не буфетный, а свой, привозной, из жестянки, — и ещё сухими травами, которые висели пучками под потолком, перевязанные ленточками. Ленточки были разных цветов, и это меня тогда удивило больше всего: Рашель Давидовна Штерн, содержательница цирка, женщина, о которой в Москве ходило больше слухов, чем о любом купце, — а под потолком у неё висели травы, аккуратно перевязанные ленточками. Как у провинциальной аптекарши.

Она сидела у окна, в кресле, лицом к нам, и когда мы вошли, не встала. Это было не невежество. Это было состояние.

Рашель Давидовна была не старая. Я думаю, ей было лет пятьдесят пять, может, чуть больше. Но выглядела она в тот день гораздо старше своего возраста, и не от горя — горе у таких людей сидит внутри и наружу не выходит, — а от бессонницы, которая в ней держалась уже много часов. Лицо у неё было широкое, желтоватое, с крупным носом и с той тяжёлой нижней челюстью, какая бывает у людей, привыкших командовать и не привыкших, чтобы им возражали. Одевалась она просто: тёмное платье, шерстяная шаль, гладкие волосы, ещё совсем чёрные, уложены узлом на затылке. Ни кольца, ни брошки, ни часов. Всё, что говорили о ней в Москве — что она миллионерша, что у неё дома в Петербурге, что она в родстве с банкирами, — всё это при взгляде на неё отпадало. Перед нами сидела женщина, которая всю жизнь работала и работала тяжело, руками.

Она сказала, не здороваясь:

— Садитесь.

Куракин сел. Я остался стоять у двери — так у нас заведено. Когда он садится к человеку, я держусь поодаль и слушаю, потому что в такие минуты между ним и тем, кто напротив, идёт не разговор, а нечто другое, и перебивать это нельзя.

Рашель Давидовна смотрела на Куракина долго. Потом сказала:

— Я знала, что вы придёте. Я ждала с ночи.

— Ждали?

— Ждала. Мне сказали, что у вас в сыскной есть один следователь, который на такие дела ездит сам. Я велела у ворот никого не задерживать и никого не отпускать. Это моё. Если будете кого-то из моих брать — берите при мне. Я не хочу, чтобы потом говорили, что я кого-то прятала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.